

УДК 81'272+82.1+82-94

**ЯЗЫКОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СДВИНУТОГО» СОЗНАНИЯ
В РУССКОЙ МЕМУАРИСТИКЕ
(«ЗАПИСКИ БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА» Л. Я. ГИНЗБУРГ)**

© *Михайлова Татьяна Витальевна*

кандидат филологических наук, доцент,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Россия, 660037, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31
E-mail: ta.rada@mail.ru

© *Михайлов Алексей Валерианович*

кандидат филологических наук, доцент,
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Россия, 660037, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31
E-mail: avm_2006_64@mail.ru

В данной работе авторы исходят из предположения об особенном месте мемуарной литературы в пространстве художественной словесности, особенно в случае описания измененного состояния сознания. Причиной измененного состояния, которое описано в книге воспоминаний Л. Я. Гинзбург, явилось чувство голода во время блокады города Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, осложненное рядом других. Переход человека из состояния прошлого в состояние настоящего, кажущегося, из нормального — в странное и зыбкое, описывается рядом глагольных форм и других лексем со значением «кажимости». Внешние изменения и внешние сдвиги сопровождаются внутренними изменениями в «телесном» пространстве, непослушанием предметов. Обратные изменения к нормальному сопровождаются характеристиками признаков возвратного движения-перехода к нормальному состоянию мира, вещей и человека.

Ключевые слова: русская мемуаристика; блокада в русской литературе; «сдвинутое сознание»; измененные состояния сознания; языковая экспликация психического состояния; норма, кажимость, странность и удивление.

В настоящей статье авторы описывают приемы презентации измененного состояния сознания, представленные в книге Л. Я. Гинзбург о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны — по публикации «Записки блокадного человека. Воспоминания» (издательство «Эксмо», 2014 г.) [6].

Тема блокады и измененного состояния сознания человека не нова, к сожалению, в русской литературе. Произведений о блокадных переживаниях к настоящему времени опубликовано много. Среди наиболее известных работ — «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина [2], «Блокадная хроника Тани Савичевой» [11], воспоминания О. Берггольц («Ольга. Запретный дневник» [4]. Укажем также последнюю по времени — «Упрямый город. Блокада 1941–1944») [13].

Уникальность текста Л. Я. Гинзбург состоит в том, что автор, будучи филологом и литературоведом и потому обладая приёмами наблюдения над различными видами сознания и их анализа, является сам носителем блокадного «сознания».

По мнению известного историка, «Записки блокадного человека» представляют собой описание «как внешней рефлексии, так и авторефлексии, которая совершалась во время блокады и долгие годы после неё» [9, с. 8].

Автор «Записок» представляет человека в «пограничных ситуациях» — ситуациях, в которых человек обычно не живёт, и потому внешние и внутренние миры чело-

века в обычной жизни имеют свои «формы и пределы» существования, отличные от «пограничных»: «Тянется, до отказа натягивается резиновая ткань жизни; но вот ослабел нажим, её отпустили, и резина мгновенно устремилась обратно, к исконным своим пределам и формам. *То, что человеку открывается в пограничных ситуациях, — закрывается опять*» [6, с. 51].

Мемуарная же литература в целом ориентируется на некую пограничность — в описании состояний вспоминающего (как реального — о нереальном = призрачно-ушедшем, существующем лишь в воспоминании), см. суждения Б. В. Аверина о вспоминающих дискурсах В. В. Набокова [1].

1. Осознание перехода.

В тексте Л. Я. Гинзбург начало блокады Ленинграда характеризуется наличием у живших там людей нескольких эмоциональных и ментальных состояний. Все эти состояния автор описывает как некие «странности»: «Отличительной чертой первых дней было это неведение, *странным образом* смешанное с долгой подготовкой, с долголетним внушением мысли о неизбежности и сокрушительной тотальности события» [6, с. 38].

Довоенные предметы, явления, территории начинают менять своё прежнее значение. В первую очередь в тексте начинает проявляться оппозиция «довоенный — военный»: «Возвращаюсь домой по улицам, будто *ещё довоенным*, среди предметов *ещё довоенных*, но уже изменивших своё значение» [6, с. 39].

Временные маркеры «ещё», «довоенный», «пока» намечают границу перехода от одной жизни к другой: «*Ещё* нет ни страдания, ни смертной тоски, ни страха, напротив того, — возбуждение и граничащее с лёгкостью *чувство конца этой жизни*» [6, с. 39]. Переход осуществляется сам собой, независимо от воли самих людей: «нас неудержимо *относит от довоенного строя чувств*» [Там же].

В тексте это состояние подчёркнуто использованием глагола «относит» в безличном значении.

Автор описывает изменения в этот переходный период, наблюдавшиеся в эмоциональной сфере человека. «Неустоявшаяся тоска», «пустота ожидания» были характерны для первых дней войны. Видимо, эти состояния послужили причиной интенсификации чувств людей в это время: «*Страшная* была жажда на информацию»; «*Чувство конца* прежней жизни было сперва столь *нестерпимо сильным*». Сам переходный период воспринимался как «*неслыханный*», люди «*бросались* на каждого человека, который хоть на шаг был ближе, чем они, к фронту», задавали «*бестолковые вопросы*» [6, с. 38–39].

Постепенно сознание многих людей начинает «сосредотачиваться на развязке», поскольку, как вспоминает Л. Я. Гинзбург, сознанию «хотелось быть суровым и стойким». Некоторые, из наиболее неподготовленных, сразу примирились с собственной гибелью, и только потом уже выяснилось, «что погибнуть труднее, чем это кажется с первого взгляда» [6, с. 39].

Рождается новая действительность, «*небывалая*, но и похожая на прежнюю». Автор воспоминаний обращает внимание на появление в городе новых, непривычных деталей, например, крестообразные наклейки на окнах (чтоб стёкла не вылетали), Появляются новые звуки: «Трамвайная остановка зазвучала *по-новому*... грузовые трамваи, описывая кривую, поют, как воздушная тревога» [6, с. 45].

Отношение к явлениям новой действительности варьируется. Одни удивляют и кажутся странными: «Но было в этом и *что-то мучительное и странное*» [о наклейках на окнах] [6, с. 57], другие вызывают сильную печаль — «*Никогда мы не слышали более печального звука*» [о начальных звуках репродуктора перед информсообщением] [6, с. 38].

2. Наступление внешнего мира.

2.1. Изменение обычных значений «внешнего» пространства.

«Сдвинутое» сознание человека начинает воспринимать мир по-другому, не так, как до войны, «странно». Происходят изменения в восприятии человеком внешнего пространства. Поскольку пространство большого города предполагает различные механические устройства для его преодоления, пеший человек блокадного города столкнулся с субъективным увеличением расстояний: *«Мы снова постигли незнакомую современному человеку реальность городских расстояний, давно поглощённую трамваями, автобусами, такси»* [6, с. 57].

Главной целью движения человека по городу становится движение к «обеду», т. е. двигающемуся человеку необходимо либо дойти до столовой, либо дойти до очереди за хлебом и выдержать там медленное движение к цели.

Субъективно увеличенное пространство города становится для его жителей серьёзным препятствием в их стремлении выжить в новых условиях, поэтому семантика 'преодоления' постоянно присутствует в описаниях движения блокадного человека: *«Люди бегут по морозу, одолевая овеществившееся пространство»* [6, с. 48].

Ситуация преодоления пространства включает в себя эмоциональное отношение к городу как к «мучителю» своих жителей. Действия людей характеризуются различными оценочными конкретизаторами *«мучительно»*, *«круг Дантова ада»*, например: *«Самый обед — это тоже преодоление пространства; малых пространств, мучительно сгущённых очередями»* [Там же].

В сознании голодного истерзанного человека город часто воспринимается как живое существо, которое может использовать даже свою красоту как вид издевательства: *«Обедать он побежит по морозу сквозь издевательски красивый город в хрустящем инее»* [6, с. 48].

Внешнее пространство военного города, воспринимаемое сквозь призму эмоционального состояния человека, может эксплицитировать и другие модусные смыслы — сочувствие, восхищение: *«Город — синтетическая реальность. Это он, город, борется, страдает, отталкивает убийц»* [6, с. 57].

Город в сознании блокадного человека материализуется в реальное существо: город-мучитель, город-страдалец, город — мужественный боец. На фоне разрушений у людей «вдруг» обострилось внимание и восприятие красоты: *«Невнимательные люди увидели вдруг, из чего состоит их город. Он слался из отдельных участков несравненной ленинградской красоты, из удивительных комплексов камня и неба, воды и листвы...»* [6, с. 56].

Автор подчёркивает, что восприятие города как живого отнюдь не литературный приём, а реальное ощущение у людей, находящихся в запредельных для обыденного понимания ситуациях.

Происходит изменение в восприятии и географических и архитектурных объектов города. Реки, мосты, районы, дома — всё наделяется другим, отличающимся от довоенного, значением: *«Реки расчленили районы с их особыми качествами. Они были возможной границей. И можно было представить себе войну по районам и между районами»* [6, с. 57].

Переходное состояние между смертью и жизнью, в котором оказался человек, делает более всё более чётким и явным: *«Проступил чертёж города с островами, с рукавами Невы, с наглядной системой районов, потому что зимой, без трамваев, без телефонов, знакомые друг другу люди с Васильевского, с Выборгской, с Петроградской жили месяцами не встречаясь, и умирали незаметно друг для друга»* [Там же].

Разбомблённые дома *«демонстрируют систему этажей»* пешеходам, совершающим свои ежедневные маршруты. Автор описывает чувство удивления у людей,

«открывающих», что комнаты висят в воздухе. От «кажущегося» понимания люди переходят к истинному: «Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе, что у него над головой, под ногами так же висят другие люди. ... *Каждому кажется, что пол его комнаты стоит над некой перекрытой досками почве. Теперь же истина обнаружилась с головокружительной наглядностью*» [6, с. 55].

Дом становится более значимой единицей по сравнению с довоенной жизнью. В сознании жителей стал проявляться интерес к материалу дома, к его конструкции: «*Каждый дом был теперь защитой и угрозой. Люди считали этажи, и это был двойной счёт — сколько этажей будет их защищать и сколько будет на них падать*» [6, с. 56]. Как уже отмечалось, у жителя блокадного города обостряется внимание. Разбомблённые дома приобретают различные формы, которые фиксируются в сознании человека. Человек, идущий мимо разрушенных домов, спокойно отмечает, на что похожи некоторые из них, и в этом наблюдении, как ни странно, можно увидеть даже некое любование: «они всё ещё рушатся, вечно падают, как водопад» [6, с. 55].

Происходят изменения в отношении и к частям дома. Лестницы в глазах жителей также становятся объектами их нового пристального внимания: «*Спускаясь по чёрным лестницам своих жилищ, люди присматривались к каким-то выступам и захламлённым нишам, о которых они ничего не знали. Теперь это были укрытия. Как будет лучше, в случае чего, прислониться здесь к правой или к левой стенке?*» [6, с. 56].

Блокада «сдвигала» значение воспринимаемых знаковых ситуаций до их полной противоположности: заколоченное окно как знак покинутого жилища превращается в знак переполненной братской могилы. Автор пишет об этом так: «*В те ... дни знак заколоченных окон получил обратное ужасное значение — он стал знаком заживо погребённых и погибающих в тесноте, в нём была погребальная символика досок, замурованность подвалов и тяжесть этажей, падающих на человека*» С. 58

Внешний мир человека, живущего в блокадном городе, конечно же, под влиянием обстоятельств меняется. Но меняется и сознание человека, находящегося в ситуации сильного психического напряжения. В сознании появляется ряд особенностей, которые отсутствовали у доблокадного человека и потому представлены автором как «странные».

2.2. Предметы как символы борьбы порядка и хаоса.

Блокадное время — это время борьбы хаоса с порядком. Вещи уходили из-под воли человека и начинали жить своей жизнью. Необходимо было совершать волевые и механические усилия, чтобы вернуть их под волю человека: «*Потом надо ещё принести воду из замёрзшего подвала. ... Сопротивление каждой вещи* нужно было одолевать собственной волей и телом, без промежуточных технических приспособлений» [6, с. 47].

Наступление хаоса в личном пространстве человека было связано с развитием дистрофии, вызывающей, кроме всего прочего, чувство сильного раздражения. «*Бессильная дрожь раздражения*» овладевала усталым человеком, и он не имел ни сил, ни желания расставлять вещи по местам. Вещи потеряли прежний смысл, «скользили и расплзались». Автор отмечает, что они стали «мутные, с размытыми границами (значит, без формы)» [6, с. 41].

Странное поведение вещей в создавшемся хаосе представлено в тексте такими характеристиками: «тарелка с окурками, выброшенная хаосом из своих недр», «битовое столпотворение», «заглохшая пишущая машинка». Вещи, перемешанные друг

с другом, воспринимались как «развалины Колизея» или как «Поганкины палаты». Хаос представлялся нормальным состоянием в сознании блокадного человека.

Борьба за жизнь в своих холодных квартирах проходила так же, как борьба «погибающих полярников»: все вещи были строительным материалом для мешка или «пещеры», в которых ночевали. Именно поэтому вещи были «навалены», «тяжко давили», а хаос «поджидал» человека в его собственном доме, «распоясывался» и «скрещивал» вещи из разных эпох и жизней. И это воспринималось как норма. В восприятии блокадного человека аномальным было возвращение вещей под контроль хозяина. Валенки становятся вновь обувью, а не «необходимой принадлежностью человека», и потому их можно сменить на ботинки. У приходящего «в себя» блокадника «вещи начали медленно возвращаться к своему назначению [6, с. 44].

В блокадном городе существовал ряд вещей, которые воспринимались его жителями как символы порядка.

К таким побеждающим хаос символам относился водопровод: «Водопровод — человеческая мысль, связь вещей, победившая хаос, священная организация, централизация» [6, с. 47].

В семантике этого слова актуализируются важные для блокадника смыслы ‘организация’, ‘централизация’. Эти смыслы создавали ощущение связи с миром, с центром, «вытаскивали» человека из его одинокой борьбы против наступавшего хаоса.

Ещё более сильным «триггером», вызывающим состояние радостного возбуждения у жителей города, был трамвай.

Трамвай воспринимается как символ порядка, символ спокойной довоенной жизни. В тексте эксплицируется значение ‘управляемость, контролируемость властью, центром’: «Трамвай был успокоителем, как голос диктора, объявлявший радиостанцию. Существовал центр, невидимо управляющий красными трамвайными вагонами. Вагоны бежали, центр работал. Рельсы вытекали из него и впадали обратно. Своей дугой каждый вагон был прикреплен к системе, централизован. ...Эн с облегчением следил, как потрёпанный красный вагон, скрипя, огибает угол, послушный центру...» [6, с. 45].

Трамвай вызывает радость в «сдвинутом» сознании блокадника, поскольку является символом возвращения вещей под власть человека, и следовательно, символом победы порядка над хаосом: «Поездка в трамвае — один из лучших, подъёмных моментов дня. Это человек перехитрил враждебный хаос. Среди всех упорствующих вещей, ушедших из-под нашей власти, среди вещей, которые надо двигать и подвигать собственными мышцами, собственной волей, — вдруг одна послушная вещь, служащая тебе механическая сила» [6, с. 78].

Процесс откапывания городом в апреле трамвайных рельс воспринимался Эном вполне позитивно, хотя предназначение трамвая как предмета из внешнего мира было для него неопределённо, ему всё казалось, что трамвай — «это нечто ударно-показательное, чем практически пользоваться нельзя» [6, с. 77].

3. «Странное» поведение тела.

Тело становится «внешним» миром, враждебно наступающим на человека. Внешний мир наступает на человека и «захватывает» его собственное тело.

Автор воспоминаний отмечает происходящее в человеке «расщепление сознательной воли и тела» [6, с. 42]. Человек перестал воспринимать тело как своё. Тело приобретает «новые ощущения, не свои».

Люди начинают «открывать в себе кость за костью», смотрят на своё изменившееся усыхающее, или, наоборот, распухающее тело со «злым любопытством»: «Оно было незнакомое, всякий раз с новыми провалами и углами, пятнистое и шершавое» [6, с. 43].

Процесс «отчуждения» тела сопровождается различными чувствами — от злости, оскорбления до любопытства и равнодушия.

Тело перестало контролироваться волей человека. Обычные движения человека (подъём по лестнице, наклон) демонстрировали разъединённость воли и тела. Тело вышло из-под власти разума и воли, у него появляется собственная воля: «Человек хочет ногу поставить на край стула», а «тело выскользнуло из рук и хочет упасть пустым мешком в непонятную глубину» [6, с. 42].

Неподконтрольность собственного тела вызывала сильнейшее раздражение человека. Автор описывает это состояние как «гнусный процесс», оскорбляющий человека. Вследствие развивавшейся дистрофии происходит потеря навыков, выработанных человеком в младенчестве: рука «разучилась» делать мелкие движения, теперь ею можно было только пользоваться «как лапой», тело разучилось автоматически поддерживать себя в вертикальном положении.

Душа осознавала себя ещё живой, а тело становилось мёртвым. Шёл процесс «перерождения, усыхания, распухания» тела, но люди его не осознавали, потому что всё это происходило «как бы над мёртвой материей». Грань между жизнью и смертью истончается, и блокадный человек практически переходит уже в неземное состояние, когда он осознаёт, что тело ему не принадлежит, и лишь душа является его собственностью: «С истощением отчуждение углублялось. Наконец всё раздвоилось странным образом: истощённая оболочка — из разряда вещей, принадлежащих враждебному миру, — и душа, расположенная отдельно...» [6, с. 42].

Процесс отчуждения сопровождался желанием забыть тело, не смотреть на него, загнать память о нём в глубину своего сознания: «Они потеряли из виду своё тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным. Ему хотелось забыть, что где-то далеко — за ватником, за свитером, за фуфайкой, за валенками и обмотками — есть у него нечистое тело» [6, с. 43].

Как далеко отстоят эти состояния от нормального человека? На каком они располагаются плане душевной жизни? По мнению Л. Н. Толстого — на отдалённом, исходя из этого он и строит свою психологию войны.

В тексте же «Записок блокадного человека» семантика кажимости является одной из текстообразующих.

В период перехода от одной действительности к другой все изменения только начинают осознаваться, граница перехода ещё не до конца ясна, туманна и зыбка, поэтому временная семантика выступает совместно с модальностью кажимости: «В первый миг совершающего события *показалось*, что нужно куда-то ужасно спешить...» [6, с. 39]; «*Потом оказалось*, что многое *пока* по-прежнему» [Там же]; «А нам *тогда казалось*...» [6, с. 53].

В тексте, описывающем начало блокады, лексемы, эксплицирующие модальность кажимости «*будто*», «*оказывалось*», «*показалось*», «*мерещилось*», сочетаются с временными наречиями «*тогда*», «*пока*», «*потом*». О кажимости и ее модальности см. также статью О. П. Ермаковой [8].

Позже, когда повествование погружает читателя в «реальность» блокадного существования, модальность кажимости передаёт то состояние человека, когда «жизнь до перехода в другую реальность начинает восприниматься как *наваждение*, а голод и дистрофия — как *реальность*» [6, с. 53].

Об этом же странном состоянии другой реальности, наваждения, которое испытывал блокадный человек, пишет и другой автор, Д. С. Лихачев: «Я думаю, что *подлинная жизнь — это голод, всё остальное мираж*» [10, с. 394–395].

Модальность кажимости передаёт состояние выбора человеком ситуаций «меньшего зла», когда объективное положение дел (езде темно) менее значимо, чем субъективная оценка человека «на улице не так страшно»: «*Казалось*, на улице, даже ночью, не так темно, не так страшно, как дома» [6, с. 59].

Человек успокаивается от синего света в трамвае, от голоса кондуктора: «*Трамваи же ... с синими лампочками казались прибежищем. Там был свет, пусть синий, но свет, были люди, успевшие надышать немного тепла, там деловито огрызается кондукторша*»... [6, с. 59].

Модальность кажимости в тексте объединяется с модальностями «странности» и «удивления». Об общности структуры этих модальностей упоминается в работах Е. М. Вольф, посвящённых субъективной модальности и семантике оценки [5], и работе Ю. А. Горельниковой [7].

В модальную рамку этих модальностей наряду с такими элементами, как субъект оценки, объект оценки и т. п., входит и фрагмент картины мира, «включающий как систему ценностей субъекта, так и систему ценностей социума» [5, с. 125], ценностная картина мира часто сопряжена с нормативной картиной мира, «с её стереотипными ситуациями и их характеристиками и с соответствующими шкалами оценок» [5, с. 126].

См. об этом также мнения Н. Д. Арутюновой в ее статье «Аномалии и язык (К проблеме языковой «картины мира»)» [3]. Эн, пережив блокадную зиму, воспринимал как аномалию, возвращение некоторых предметов из довоенной жизни: «*К трамваям Эн долго не мог привыкнуть. Ему всё казалось, что это нечто ударно-показательное, чем практически пользоваться нельзя*» [6, с. 77].

Другая реальность не столько пугала, сколько удивляла. Удивление ещё с аристотелевских времён считается одним из видов интеллектуальных эмоций. В мемуарах Л. Я. Гинзбург жизнь блокадного города представлена как через собственное восприятие автора, так и через восприятие некоего человека, которого автор называет «Эн» и характеризует как «интеллекта в особых обстоятельствах» [6, с. 37]. Этим «суммарным и условным» интеллигентом удивление оценивается как «высокое» чувство: «Он удивился (ему нравилось удивляться), когда кто-то сказал: «Вот он — голод...» ... Ему нравились удивление и непонимание как признаки психики высшего разряда» [6, с. 87].

Удивляться человек начал с первых дней блокады. Удивление было связано с процессом перехода от старого к новому: «Ещё ходят трамваи, выплачивают гонорары, в магазинах торгуют обыкновенными вещами. *Это удивляло*» [6, с. 39].

Обычный мир начинает казаться странным: «Люди у остановки отсюда маленькие и торопливые. ...*Удивительно*, как среди них могут быть профессора, врачи, на которых робко смотрят пациенты, ответственные работники» [6, с. 45].

«*Странное, искривлённое отражение*» действительности, которое мерещилось человеку «*сквозь дистрофический туман*», делало в сознании блокадника «удивительным» многое: «День ленинградской весны 1942-го. Впрочем, слово «весна» звучит *странно*» [6, с. 37].

И напротив, человек совершает действия, которые ему, жителю блокадного города, кажутся разумными, с точки зрения же другой реальности — странными и алогичными: «Вот почему — *вопреки всякой логике* — напряжение нервов падало, уже когда человек выходил на лестницу, направляясь в убежище. Это было вступление в процедуру, — благополучный её конец проверялся ежедневно на опыте. Многим даже *казалось* — именно процесс спуска и отсиживания в подвале обеспечивает благополучный исход; им не приходило в голову: на этот раз дом точно также уцелел

бы, если б они остались наверху в своих квартирах. Их удивило бы это соображение, столь очевидное» [6, с. 60].

«Странное, искривлённое отражение интеллектуального действия — оно было унижительнее всего. И ему *мерещилось* сквозь дистрофический туман, что подменённое интеллектуальное действие — это вообще самое постыдное» [6, с. 90].

Мы уверены в том, что модальность, модальности и их мена в художественном тексте есть основа художественности, однако в случае, когда речь идет о мемуарном тексте, понимание модальности и ее роли в организации пространства текста, должно быть переосмыслено именно с точки зрения специфики текста-воспоминания, ср. об этом мнение Т. В. Романовой [12].

Таким образом, описание восприятия внешнего мира человеком, оказавшимся в аномальных жизненных обстоятельствах, выводящих его за пределы того, что может выдержать психика человека, опирается на семантику странности, кажимости и удивления.

Литература

1. Аверин Борис. Дар Мнемозины (романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции). СПб.: Амфора, 2003. 400 с.
2. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. 624 с.
3. Арутюнова Н. Д. Аномалии и язык (К проблеме языковой «картины мира») // Вопросы языкознания. 1987. № 3. С. 3–19.
4. Берггольц О. Ф. Ольга. Запретный дневник. СПб.: Азбука-Аттикус, 2011. 606 с.
5. Вольф Е. М. Субъективная модальность и семантика пропозиции // Прагматика и проблемы интенциональности / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Институт языкознания АН СССР, 1988. С. 124–143.
6. Гинзбург Л. Я. Записки блокадного человека. Воспоминания. М.: Эксмо, 2014. 640 с.
7. Горельникова Ю. А. Выражение модального значения кажимости в структуре предложения: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: Изд-во Моск. пед. гос. ун-та, 1993. 19 с.
8. Ермакова О. П. Метафора в отношении категории кажимости // Логический анализ языка. Между мыслью и фантазией. М.: Наука, 2008. С. 618–623.
9. Кобрин К. Прорыв блокадного круга // Гинзбург Л. Я. Записки блокадного человека. Воспоминания. М.: Эксмо, 2014. С. 7–34.
10. Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб.: Logos, 1995. 519 с.
11. Маркова Л. Н. Савичева Татьяна. Дневник. [Блокадная хроника Тани Савичевой] // Петербургская семья: интернет-издание. 2017. Воскресенье. 10 марта. [Электронный ресурс]. URL: http://old.spb-family.ru/history/history_15.html (дата обращения: 24.01.2019).
12. Романова Т. В. Модальность как текстообразующая категория в современной мемуарной литературе: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб.: Издательство СПбГУ, 2004. 46 с.
13. Упрямый город. Блокада 1941–1944. М.: Лимбус-Пресс, 2019. 272 с.

LANGUAGE PRESENTATION OF «SHIFTED» CONSCIOUSNESS IN RUSSIAN MEMOIRS («NOTES OF THE BLOCKADE MAN» L. YA. GINZBURG)

Tatiana V. Mikhaylova

candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Public Relations Department
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
2, Yastynskaya Str., Krasnoyarsk, 660131, Russia
E-mail: ta.rada@mail.ru

Alexey V. Mikhaylov

candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Head of Public Relations Department
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia

2, Yastynskaya st., Krasnoyarsk, 660131, Russian Federation
E-mail: avm_2006_64@mail.ru

In this paper, the authors proceed from the assumption of a special place of memoir literature in the space of fiction, especially in the case of describing the altered state of consciousness. The reason for the changed state, which is described in the book of memories of L. Ya. Ginzburg, was the feeling of hunger during the siege of Leningrad in 1941-1944, complicated by a number of others. The transition of a person from the state of the past to the state of the present, seeming, from the normal to the strange and unsteady, is described by a number of verbal forms and other lexemes with the meaning of «seeming». External changes and external shifts are accompanied by internal changes in the «body» space, disobedience of objects. The reverse changes to the normal are accompanied by the characteristics of the signs of the return movement — the transition to the normal state of the world, things and man.

Keywords: Russian memoiristics; blockade in Russian literature; "shifted consciousness"; altered States of consciousness; linguistic explication of the mental state; norm, seeming, strangeness and surprise.